

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)



27.05.05
Войнович Владимир

Глава тринадцатая

Честная бедность

Книги, которые нельзя читать

Мой двоюродный брат Эмка, не оставляя своей просветительской деятельности, подсунил мне книжку из дяди Володиной библиотеки. Это был французский роман (кажется, не Мопассана) о даме, которая называлась «гулящая женщина» и занималась своим делом по бедности, с разрешения мужа. Муж тем же делом тоже занимался с ней, но перестал ее беспокоить, когда она заболела сифилисом. И все же однажды под напльвом чувств не сдержался и, как написано было в книге, «привлек ее, одетую, к кровати». Эта фраза меня больше всего взволновала. Что значит «привлек ее, одетую»? Значит, в ее «одетости» было что-то необычное? Значит, обычно он привлекал ее раздетую?

— Мама, — спросил я вечером, — а что такое «гулящая женщина»?

Мой невинный вопрос маму очень смутил.

— Это нехорошая женщина, — сказала мама неохотно. — А где ты слышал такие слова?

— Прочел здесь, — я показал маме книжку.

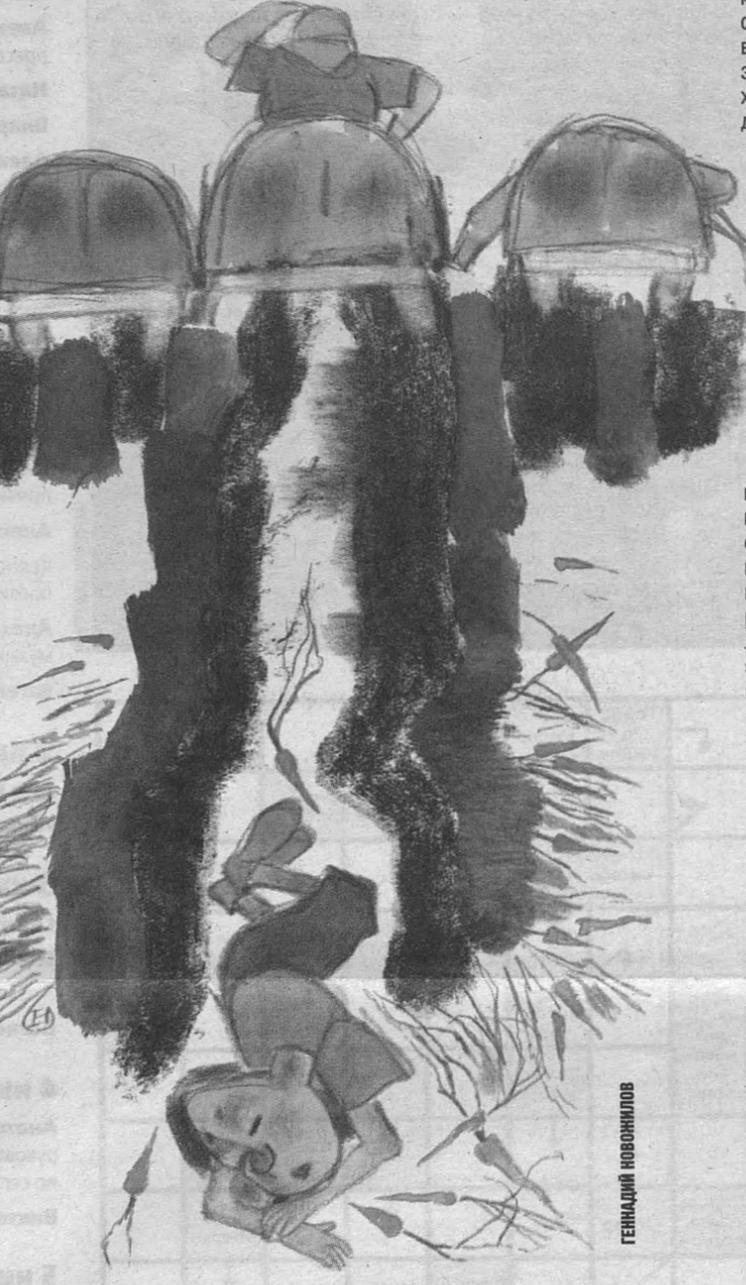
— А зачем ты читаешь такие книги? — спросила она. — Тебе такие книги читать нельзя.

Я удивился, что есть книги, которые нельзя читать. И сам себе задал вопрос: а как узнать, что книгу нельзя читать, не прочитав ее? Позже я открыл для себя, что интереснее всего читать именно те книги, которые нельзя читать, и вспоминал об этом своем открытии во времена расцвета самиздата.

Рассказы Эмки, мои личные наблюдения над жизнью иклонение родителей от объяснений по интересующему меня вопросу стали причиной ошеломительных догадок и мучительных сомнений на долгие годы. Родители меня воспитывали так, что есть органы и функции организма и связанные с ними действия, о которых не то что говорить, но и думать стыдно. А если они сами занимаются тем, о чем говорил Эмка, и при этом не стесняются смотреть в глаза друг другу и своим детям, если то, чем они занимаются, не постыдно, то почему они это скрывают? А если стыдятся, то зачем занимаются? Как миллионы подростков до меня и после, я испытал разочарование в собственных родителях. И о себе самом я думал тоже очень нехотно. Я еще верил, что «про это» ни говорить, ни думать нельзя, но чем дальше, тем больше «про это» думал. А когда стал реально испытывать поначалу ни на кого не направленное влечение — и вовсе его устыдился и подумал: какой я скверный мальчик!

Прилетели гули...

Вопреки заговорным предсказаниям Тараса Шевченко, чей дух вызвала бабушка, вертя блюдечко, 20 февраля 1944 года война не кончилась. Но 21 февраля случилось тоже событие важное: родилась моя сестра Фаина. Нас стало слишком много, чтобы дальше жить у дяди Володи, и мы переехали в крайнюю избу, где до нас жила в одиночест-



ГЕННАДИЙ НОВИЧЕНКО

Пока я каждый стебелек разглядывал, пытаюсь определить, что есть что (хотя часто все-таки путал и выдергивал морковку), мои напарницы уходили далеко-далеко, и высоко поднятые зады их, как паруса, маячили на горизонте. Я в истерике начинал дергать траву уже без разбора, но тут же капитулировал. Ложился в борозду и немедленно засыпал

ве и нам ужасно обрадовалась неграмотная старуха баба Евгения. У нее были черные руки с пальцами, настолько искривленными в одну сторону, что они походили на свастикку. Баба Евгения охотно ухаживала за моей сестренкой и, укачивая, пела ей всегда одно и то же: — А-а, люли, прилетели гули... Дальше она текста не знала и бесконечно повторяла одну эту строчку. Иногда Фаину укачивал я. Фаина подолгу не засыпала, лишь замолкала, но как только я переставал качать колыбельку, плакала. Чтобы как-то разнообразить скучный процесс, я стал баловаться: толкал колыбельку от себя и отпускал, а она сама ко мне возвращалась. Однажды я толкнул колыбель слишком сильно, и она опрокинулась. Сестренка выкатилась на пол. Я обмер от страха. Мне показалось, что я ее убил. Я кинулся к ней и увидел, что она смотрит на меня удивленно, как бы спрашивая: «Что это было?»...

На трудовом фронте

Мой друг Бен Сарнов долго получал пенсию выше моей, потому что он, 1927 года рождения, во время вой-

ны автоматически считался «тружеником тыла», и теперь государство ему платило за невзгоды, которые ему предположительно выпали бы, если бы... А меня оно этой добавкой не баловало, потому что я, будучи на пять лет моложе Сарнова, тружеником не считался. Но дело в том, что я с весны 1944 года, после окончания четвертого класса, как раз работал, и не по сокращенной норме, какую впоследствии вводили для городских подростков, а как все колхозники, от зари до зари. Начал я с прополки колхозного огорода. Об этом в семье дяди Володи сохранилось юмористическое предание под названием: «Как Вова полон морковку». Много лет дядя Володя с удовольствием рассказывал, как Вова, работая на прополке, засыпал в борозде. И как было мне не засыпать! Меня, маленького и тщедушного, еще не оправившегося от перенесенного голода, включили в бригаду здоровых деревенских баб, среди которых равными им выглядели и достигшие половой зрелости наши две Паладурки, здоровые девки с большими грудями и крепкими ляжками, неспособные к умственным занятиям, но привычные

к полевым работам. Здесь они чувствовали свое явное превосходство и насмехались надо мной, мстя за насмешки над ними в школе. Мне хотелось за ними угнаться — но куда там! Они и другие бабы становились шеренгой вдоль грядки, наклонялись и сразу брали высокий темп, изредка разгибаясь, чтобы смахнуть пот со лба. Быстро, как автоматы, шевелили они руками и слаженным фронтом ритмично передвигались вперед. А я не мог так быстро работать. Я не отличал морковные стебельки от похожего на них сорняка. Пока я каждый стебелек разглядывал, определяя, что есть что (часто все-таки путал и выдергивал морковку), мои напарницы уходили далеко-далеко, и высоко поднятые зады их, как паруса, маячили на горизонте. Я в истерике начинал дергать траву уже без разбора, но тут же капитулировал. Ложился в борозду и немедленно засыпал. Естественно, меня в конце дня, разбуженного и сконфуженного, некоторые жалели, но другие — и Паладурки были первые среди них — на язвительные замечания не скупилась.

Честно говоря, уже не помню, кто меня заставлял ходить на прополку и заниматься этим постылым делом. Был ли колхозный труд для меня обязательным? Наверное, был: все мальчишки моего возраста, а некоторые и раньше, лет с шести, работали в колхозе. Но и родители к тому же меня побуждали. Они считали, что я ничем не лучше других. Другие работают — и мне нечего сидеть дома. Когда мои сверстники пойдут в армию, и мне от этого нельзя будет уклоняться.

Спартанское воспитание

Тут самое место рассказать о моем воспитании. Им, так же как и учением, мало кто занимался, но все-таки я испытал влияние сначала тети Ани и бабушки, а потом больше отца, чем матери. Воздействие, которое можно было бы назвать воспитанием, в наиболее регулярном виде оказывалось на меня в три коротких периода моего детства: на хуторе, в Управленческом городке и теперь вот в вологодской деревне. В основе воспитания была идеология честной бедности. Надо много трудиться, но быть честным и, стало быть, бедным. Потому что «от трудов праведных не нажить палат каменных». Мои родители всю жизнь жили только на зарплату, всегда такую маленькую, на которую по нормальному убеждению жить нельзя. Сбережки у нас не водились, как она выглядит, я потом, когда жил в городе, знал только по рекламным плакатам: «Брось кубышку, заведи сберкнижку!» Денег ни у кого не одалживали, потому что отдать было бы нечем. Честность, бедность, неприхотливость и гордость — вот четыре состояния, почтавшиеся в нашей семье. И они же основа здоровой жизни. «Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле. Избегай докторов и будешь здоров».

Отец с удовольствием читал мне стихи Бернса в переводе Маршак: «Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее». Старания заработать побольше денег, купить хорошую мебель, одежду, а тем более украшения вызывали у моих родителей презрение и насмешку. Отец вообще считал кольца, серьги, бусы, браслеты и прочее признаком дикарства.

Когда он сидел в лагере, я часто просил маму красить губы, и она это делала. После того как отец вернулся, я на губах ее помады уже никогда не видел.

Родители были люди вполне интеллигентные. Мать окончила с отличием педагогический институт, после войны преподавала в школе математику и преподавателем была выдающимся. Все дореволюционное учение отца было пять классов реального училища, а потом — не было никакого. Но он многого достиг самообразованием, хорошо знал историю и литературу, Пушкина чуть ли не всего, а уж «Евгения Онегина» точно от первой строчки до последней помнил наизусть и был абсолютно грамотен. Но, сам не получив хорошего образования, он о том, чтобы я его получил, не беспокоился. Главной его заботой было, чтобы я закалял волю, терпел всякие неудобства, трудился и не вырос белоручкой.

Отец всегда приводил мне примеры из жизни великих, которые не чурались простого труда: Толстой пахал, Чехов был доктором, Грин моряком, Паустовский работал трамвайным кондуктором. Князь Святослав вместо подушки использовал седло, Суворов всегда спал на жестком, Наполеон укрывался шинелью. В дело моего воспитания шли разные легенды. Например, о Муции Сцеволе, который поразил врагов тем, что на их глазах сжег собственную руку и не поморщился. Или вот еще. Спартанский мальчик украл где-то лисенка, спрятал за пазуху и понес домой. По дороге встретил учителя. Учитель остановил его и стал о чем-то спрашивать. Мальчик отвечал. Тем временем лисенок стал вгрызаться ему в живот. Мальчик продолжал разговор с учителем, лисенок выгрызал его внутренности, а он не подавал даже виду, что ему не по себе. Слушая это, я испытывал комплекс неполноценности. Пахать землю мне было интересно, но я не хотел подкладывать под голову седло, руку сжигать вряд ли б отважился, она у меня не лишняя, а если бы лисенок у меня выгрызал кишки, я вряд ли мог бы улыбаться учителю. Конечно, родители и не ожидали от меня готовности к столь великим подвигам, но беспокоились, чтобы я не позволял себе лишнего, довольствовался малым, экономил на всем и все. Меня ругали за то, что я при ходьбе ногу ставлю неровно, поэтому слишком быстро стаптываю ботинки с внешней стороны. Я старался ставить ноги ровно, но моих стараний хватало на несколько шагов. Дальше я начинал думать о чем-то другом и шел как попало. Меня учили не ерзать на стуле — протирают штаны, и сам стул надо было беречь, не раскачивать. Летом до шестнадцати лет я всегда ходил босиком. Потом еще года два носил тапочки, которых надолго не хватало, и от выброса старых до покупки новых опять ходил босиком. Меня учили также не брать чужого, ничего не хватать первым, уступать всем все, что возможно. А еще не обижать младших, не наушничать. Драться иногда можно, но при этом ниже пояса не бьют, двое одного не бьют, лежачего не бьют, меньших не бьют... Кого ж тогда бьют? Меньшего бить нельзя, а большего невозможно. Для меня было потрясением, когда я, уже в Запорожье, увидел в первый раз (но не в последний), как десятеро больших бьют одного маленького и лежачего — и ногами, и ниже пояса, и в зубы, и в глаз, и в нос, и по пени, и по почкам.

Великое дело — спартанское воспитание.

Продолжение следует